Слово и его нравственный смысл

Г. В. Лобастов

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) — МАИ, Москва, Россия

lobastov.g.v@yandex.ru

Анализируется контекст нравственного бытия и форм удержания его объективного смысла. Методологические принципы, на которые опирается автор, требуют анализа смыслообразования вообще, прежде чем можно понять (объяснить) смысловую сторону любого культурно-исторического явления. Порождение сознательно-смысловой стороны бытия — дело предметно-преобразовательной практической деятельности, и обособление смысла и его обособленное движение в системе общественных отношений концентрируется в феномене нравственности, удерживаемой индивидом в его непосредственных связях с другими и с содержанием общественно-исторического бытия, представленного в образе целого. Слову тут принадлежит особая роль.

Ключевые слова: нравственность; смысл; порождающее начало; смыслопорождение; диалектические абстракции; слово; нравственное определение; диалектика целого.

The Word and its Ethical Sense

G. V. Lobastov

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

lobastov.g.v@yandex.ru

The author analyzes a context of moral existence and of forms of its objective sense retention. Methodological principles upon which the author relies require the analysis of sensemaking in general, before it becomes possible to understand (to explain) sense bearing aspect of any cultural and historical phenomenon. The generation of conscious and sense bearing aspect of existence is the deed of substantive and transformative practical work, and the insulation of sense and its single movement in the system of social relations are concentrated in the phenomenon of ethical life held by an individual in his direct correlation with others and with contents of socio-historical being represented in the image of whole. The word has special role here.

Keywords: ethical life; sense; generating principle; sensemaking; dialectic abstractions; word; moral determination; dialectics of whole.

Сознание, привыкшее к языковым стереотипам, не заметит ничего необычного в утверждении, что слово имеет нравственный смысл. И даже не только нравственный. У слова можно искать различные смыслы.

Различные смыслы можно искать и не только в слове — в любой вещи. Даже такие, каких нет. Это, кстати, весьма «занятное» дело — искать то, чего нет. И делать то, что не надо. Природа этих «симуляций» понятна: что

делать и как делать, чтобы ничего не делать и т. д., в условиях капитализма не важно — делались бы деньги. В науке к факту поиска того, наличие чего проблематично, относятся спокойно: не обнаружилось, что предполагалось, значит, там ничего и не было. А знать отсутствие какого-либо явления или свойства — значит сужать проблемное поле поиска. А это уже результат. Настоящий ученый, доверчивый и наивный, не очень обеспокоен тем, что вместе с таким сужением проблемного пространства может сузиться и финансирование.

Свойство есть собственное определение вещи, потому оно так или иначе связано с природой этой вещи. Но поскольку определение — это не просто дефиниция, а некий процесс, активно выстраивающий пределы вещи, то ясно, что вещь просто может быть в понятии определена как совокупность этих свойств. Причем совокупность синтетическая, действующая неким интегральным образом. Через свойства вещи необходимо проявляется ее сущность. Свойство есть *свое* вещи, и отсутствие его означает утрату ею качественной определенности. *Смысл* же вещи не является ее свойством, он порождается отношением вещи к другим вещам и, следовательно, от места в системе целого зависит и смысл ее. Или, наоборот, система, полагая вещи функцию (придавая ей смысл), определяет и место ее в своем составе. Свойства же вещи из ее отношения к другим вещам ни в коей мере не возникают, а только проявляются, говорит Маркс. Функция вещи в системе вещей определяется этой системой и этим же определяется ее смысл: функция реализует смысл, смысл осуществляется и обнаруживается через деятельность этой вещи в составе целого. И чтобы эту функцию осуществить, вещь должна согласовывать свое движение с идеей определяющего ее целого. И либо она находит это согласование в *форме многообразных причинений*, выстраивающих ее движение — как некую результирующую форму — по «смыслу», по *идее* целого, либо она этот *смысл целого* должна *держать в себе* как собственное определение.

Что такое удержание единичным всеобщей формы целого? Как вещь может в своей единичной и обособленной форме представлять собой содержание, логику, идею целого? Потому как без этого она может только случайно оказаться *тут и теперь* и попасть своим движением в смысловое определение целого. Иначе говоря, через выстроенность своей траектории многообразными причинениями. Следовательно, так, как работает сама природа, ее «физика». А держать в себе целое без всякого физического его представительства в себе — это уже открытая метафизика с очевидной проблемой возникновения этих нефизических предваряющих условий ее собственного бытия. Она как бы заранее, априори, должна «знать» целое в его собственных определениях и определять свое действие движением смысловой стороны бытия вне объективной реальности, т. е. идеально.

Это смысловое движение и есть мышление, через «чистую» идеальную форму которого смысловая определенность каждого элемента системы получает согласование с целым. Более детальная расшифровка этой идеальной формы движения предстает в системе (во внутренней взаимосвязанности) всех категориальных форм, представленных наукой логики. Именно эта идеальная форма, удваивающая мир, в идеализме становится абсолютно-первоначальной.

Легко заметить, что в этой ситуации заключена потенция свободы, свободы как движения, согласованного с необходимым развитием целого. Но и здесь же — фундаментальный вопрос, вопрос о природе целого. Ибо определения разума — это определенность его целым, тогда как размышляющая способность всего лишь соотносит между собой причиняющие силы объективных обстоятельств. Этот рассудок не видит смысла целого и потому не может определить свой собственный смысл в его истине, находя предикаты его, смысла, только в ближайших обстоятельствах и потребностях бытия. Рассудок — орудие разума, но сам разум опирается не на причинность, а на абсолютные определения бытия,

его предельные категориальные формы. Они есть формы его, разума, движения, они есть ничем не определяемые дальше его собственные основания.

Здесь смысловая сторона вещи полностью *совпадает* с ее бытийной стороной, с ее бытием. И между ними никакого различия нет. Но есть такие объективные условия, внутри которых вещь *различается* от самой себя, бытует через себя и через другое. Удваивает себя в своем собственном образе. Это — условия возникновения самой идеальной формы, различения вещи на ее чувственно-бытийную форму и форму чистую, идеальную, соотносимую с бытием, но не имеющую «ни грана материальности». Понятно, что это — условия возникновения человека и его исторического бытия.

Такую же коллизию смысловой определенности содержит в себе и слово. Без смысла слово, как говорит Л. С. Выготский, «звук пустой». Но звук — необходимый момент бытия слова. И, тем не менее, звук — исчезающая форма, смысл же сохраняет себя. Но и наоборот, смысл утрачивает себя и превращает слово в пустой звук, графическое начертание и т. д. Все проблемы, связанные со смысловой определенностью вещи, таким же образом и в той же самой форме проявляются и в слове. Где и как соединяются и распадаются смысловые и материально-субстратные определения слова? Где и как достигается их тождество, та «интимно-божественная» связь, которая светится только смыслом и где материя звука становится неслышимой? Или где звучащий звук становится тождественным, совпадает со «звуком» смысла — и где потому получает истинность суждение, что в начале было слово. Где материя снимается, иначе говоря, становится полностью, всей своей материально-чувственной полнотой смысл выражающей. Где она абсолютно необходима не как внешний носитель смысла, а как его, этого смысла, материальное бытие. Где без нее сам смысл теряет свою полноту. Тот самый эйдос...

Идеальная форма есть чистая форма осуществления смысловой функции, т. е. та форма деятельности, в рамках которой

вещь живет как осуществляющая свое назначение, смысл, идею. Осуществив это «предписание», вещь теряет смысл. Ибо все смысловые определения не входили в ее собственное содержание, были определениями системы, и когда они и для системы потеряли смысл, они ушли, ушли в прошлое. И вещь становится бессмысленной, — если не окажется втянутой в осуществление других смыслов системы.

Остается ли у вещи своя идея как некое ее свойство, прав ли тут Платон, разговор особый, хотя коротко заметить надо, что идея пребывает в вещи, присуща ей как внутренний закон ее бытия, не отделенный и не обособленный от самой этой вещи. Однако это такое бытие идеи, которое совпадает с ее отсутствием, — но наличествует как ее возможность. Налицествует как объективный закон развития, позволяющий сознанию различать и соотносить формообразования этой вещи с ее собственной, просвечивающейся в них, в этих формообразованиях, сущностью. Где сам закон, логика движения вещи, существует как движение реального ее содержания, внутренние взаимоотношения которого подчинены объективному закону материальной детерминации. Их, закона и вещи, различения — дело деятельности, способной вынести всеобщую форму закона «за скобки бытия», в сознание субъекта ее. И субъект через это знание различных моментов, через идеальный образ предмета имеет *возможность управлять* взаимосвязями внутри вещи.

Но есть вещи, которые сами определяют себя как вещи со смыслом, сами собой и в себе несут свой смысл. И здесь, как понятно, *смысл является свойством вещи*, изъять которое значит обесмыслить, уничтожить вещь в ее этом качественном своеобразии. Она, эта вещь, сама определяет смысл своего бытия. Потому такая вещь обладает моментом абсолютности и свободы.

Если мы, однако, сочтем смысл свойством вещи, то неминуемо попадем в рамки объективного идеализма, где смысл вещи оказывается не только определяющим траекторию, судьбу вещи, но и даже

предлежащим этой вещи по времени. Это временное определение связи смысла и бытия, однако, может быть понято только через анализ целесообразной деятельности. Хотя не сложно понять, что и логическое предшествование (как и вообще весь идеализм) осознанно или бессознательно вытекает из этой самой деятельности, необходимо выстраивающей временную последовательность в соотношении своих моментов.

Смысл здесь, в человеческой предметно-преобразовательной деятельности, становится определяющим свойством бытия. И бытие любой вещи выстраивается в соответствии с ее смыслом. Однако, как понятно, не сами вещи выстраивают себя в соответствии с неким смыслом, ибо их субъектность бессмысленна и абсолютно совпадает с движением объективно-природных бессознательных сил. Действительным субъектом, осмысливающим и придающим смысл всем обстоятельствам своего бытия (в том числе и самому себе), является человек.

И нравственность как определение отношения человека к самому себе, как отношение его к целостности своего общественно-человеческого бытия, — эта нравственность разворачивается в этой же самой диалектике отношений всеобщих смысловых определений к содержанию реального предметного бытия. Этим предопределяется и анализ проблемы нравственного смысла слова.

Разумеется, слово не является обычной вещью. Но в некоторых существенных определениях оно тождественно вещественно-предметному бытию. Может быть, с тем лишь различием, что оно с самого начала возникает как несущее смысл, и смысл его возникновения заключен только в *удержании* смысла. В слове смысл сам себя определяет. Это и есть мышление как отвлеченная от бытия идеальная деятельность. Но определяет через особую материю, преобразуя и модифицируя которую субъект удерживает, осознает свои смыслы, бессознательно и содержательно определенные его реальным материально-практическим бытием. В этой идеальной деятельности со смыслами

человек осознает свое собственное бытие, и слово с его материей тут — всего лишь средство.

И смысл потому является его свойством. Более того, смысл и есть единственное существенное его определение: там, где нет смысла, нет и слова. Вещь, на которой в слове «паразитирует» смысл, абсолютно несущественна для слова. Однако смысловое определение слова осуществляет себя через определение материи его, предъявляет к ней свои требования бытийного характера и модифицирует ее сообразно самому себе, т. е. смыслу. Проблема нравственного смысла слова, следовательно, предполагает более общую проблему связи смысла вообще со словом. А это, в свою очередь, ставит проблему собственных определений слова.

Абстракция и ее гипостазирование объективно приводят к идеализму, позиции, где бестелесный смысл становится единственным основанием бытия. И легче всего такой смысл усматривается в слове, материя которого имеет абсолютно подчиненное значение. Слово уводит от грубой чувственности вещей, оставляет быть в идеальных чувствах и чистых смыслах. Слово есть отвлеченное от реального содержания идеальное бытие смысла. Оно есть чистое бытие смысла, или бытие чистого смысла. И его псевдосамостоятельность легко создает иллюзию самостоятельности смысла.

Здесь имплицитно представлена и позиция религии, и позиция идеализма. Но обосновывая себя как позицию, идеализм не обосновывает ни идею, ни материю. Однако то и другое предполагается, а, точнее, отчетливо дано в слове. Маркс указывал на необходимость некоего общего образа того целого, которое исследуется, этот образ должен как бы витать перед исследователем. Поэтому, конечно же, конкретность процесса анализа отношения вещи и смысла предполагает анализ основания, из которого и вещь, и ее смысл возникают, порождаются.

Но идеализм абсолютно прав, усматривая определяющее действие в идее, существующей до вещей. Ибо и слово зависит только от смысла, предшествующего языку,

и язык определяется этим смыслом. Идеализм, обособляющий эту связь материи и мысли, не может объяснить самое мысль, он ее констатирует и потому постулирует, видя ее то отделенной от материи и ей предшествующей, то с ней совпадающей. То есть как раз то, что легко обнаруживается в бытии слова. Диалектическая форма анализа этой проблемы показывает противоположность и тождество их, смысла и бытия, определений — но, снова же, в абстракции, в отвлечении от проблемы самого смыслопорождения.

А ведь только *смыслопорождение* и *рожденный смысл как свойство вещи*, от нее отделяемое только с ее разрушением, может показать бытие смысла в вещах. А потому и сделать прозрачным процесс *присвоения* смысла вещами — теми вещами, которые сами по себе этого смысла не имеют.

Как вещь присваивает себе смысл и почему она это делает? И насколько, собственно говоря, вещи, «присваивающей» смысл, присуща *субъектность* в этом процессе, насколько она активна в присвоении этого смысла? У объективного идеализма здесь с необходимостью появляется «бог», который и наделяет каждую вещь тем, что мы в ней находим. Такой «бог» есть и у слова, бог, несущий в себе смыслы и ими наделяющий все вещи, которые им включаются в его активное бытие. Поэтому, если в начале было слово, то оно должно было быть Богом, т. е. чистым смыслом. Или, иначе, слово, если первое именно оно, должно быть полностью растворено в смысле. Что, собственно говоря, и имеет место в реальной практике человечества, где материя языка выступает лишь исчезающим моментом, становится прозрачной для смысла, где виден только смысл и никакой материи. Где и как в истории обнаруживает себя для сознания язык как язык, т. е. как нечто, на что сознание наталкивается и с неподатливостью которого вынуждено считаться, вопрос в данном случае второй. Хотя, как видно, разговор только об этом и вокруг этого.

Но где же в таком случае прячется смысл?

Вот спросили малыша четырех с половиной лет: «Где твое сознание?» — и через пару месяцев, устав от занудного пристаивания взрослых с этим вопросом, он указал на руки. А девочка того же возраста, чуть смутившись, сказала: «Наверное, в голове». Пожалуй, каждый взрослый, не раздумывая даже, воспроизведет ответ девочки, но никто — ответ малыша. Что это (сознание в голове) — стереотип языкового выражения, сохранившийся у нас с младенческого возраста, или стандарт нашего суждения, без размышлений присвоенный ребенком? Мальчик два месяца сопротивлялся вопросу, ибо не знал ответа. Можно предположить — искал. Девочка в своем смущении все-таки что-то к чему-то «прикидывала», ведь нельзя сказать, что вопрос стандартный, хотя взрослые при любом промахе ребенка стандартно «тычут» ему в голову, где у него якобы находится ум. И это типично-активное представление взрослых легко могло попасть в сознание ребенка. Но девочка, смутившись нестандартностью, необычностью вопроса, все-таки, повторю, подумала и привела в порядок свои «представления, существующие без внимания», которыми активная действительность наполнила ее субъективность.

Эта «активная среда», надо сказать, всегда без внимания оставляет, обходит явления метафизического характера. И девочка, когда станет взрослой, будет думать в том же стереотипе. И никакое образование не выведет ее в более широкое пространство мысли. Будет думать, как мы с вами, застрявшие своей мыслью в младенческом возрасте: «Мама мыла раму».

Но малыш, указавший на руки, оказался многократно глубже. Чего даже ученые, исповедующие «деятельностный подход», сообразить не могут.

Откуда, однако, такое суждение: сознание находится в голове? Ведь, надо полагать, не только из исторического опыта человечества, который как будто явно указывает на то, что человек с отрубленной головой не мыслит. Этот же опыт должен был показать и противоположное: та самая

отрубленная голова явно в себе никакого сознания не имеет. Мыслящая голова «профессора Дуэля» — явная фантазия А. Беляева. Хотя современные ученые с энтузиазмом его ищут именно в голове. И еще в составе генного материала.

Но даже обыденное сознание, конечно же, всё это дело понимает гораздо тоньше и глубже. Стереотип фразы «сознание находится в голове» явно выражает и его, сознания, бессознательное представление. Скажите человеку, что сознание находится в слове, — он, не читавший Хайдеггера, вас засмеет.

Вопрос о смысле вообще, конечно, неслучаен. Без анализа его мы не знаем, что ищем в проблеме нравственного содержания слова. И насколько вообще сама эта проблема научно содержательна. Ведь ни ребенок и ни взрослый, указывая место сознания, не задаются вопросом, о чем они говорят. Такое ощущение, что *все знают*, что такое сознание. Только вот вопрос с его местонахождением иногда озадачивает. Той же девочке я задаю вопрос: «А что же такое сознание, которое, по твоим словам, будто бы находится в голове?» Ее глаза вдруг, не видя, застывают в моих, потом точка взгляда начинает как будто беспорядочно прыгать, и она смущенно тихо говорит:

— Я не знаю.

— Как же не знаешь! — удивляюсь я. — Ведь если ты говоришь, что сознание у тебя в голове, значит, ты знаешь, что это такое. Когда в стакане вода, ведь ты знаешь, что такое вода. А если там молоко, то ты тоже знаешь, что там молоко, и ты знаешь, что такое молоко. И теперь ты вот говоришь, что сознание находится в голове. Не значит ли это, что ты знаешь, что такое сознание? Поэтому, я думаю, ты просто не хочешь мне сказать.

Когда, по случаю, эту девочку спросили, что такое интуиция, она спокойно, почти не задумываясь, сказала, что это «невидимка, который подсказывает, как надо правильно поступить». Он, этот невидимка, как я ее понял, не локализован где-либо в индивидуальных органах тела, а, скорее,

пространственно вездесущ, но не виден. Делать же может что угодно, согласуя свои действия с ней, ее действиями, или, наоборот, противопоставляя их ее желаниям. Это явно внутренняя работа детской субъективности, только представленная вот таким полусказочным образом. Образом, явно навязанным сказочными и «мультяшными» сюжетами. Интуиция, с чем ученый народ голову ломает, ее не смутила, а вот вопрос о сознании заставил ее замереть в моих глазах в поисках того, в чем и через что она сама живет. И ничего из наличных представлений своего бытия в качестве способности «видеть мир и себя в мире» не нашла.

— Я не знаю!

Честное признание! Но, конечно, по наивности. Искушенные люди обязательно соврут. Если и не сознательно, то повторяя зазубренные в школе и вузе фразы, никогда не имевшие для них смысла. Но к которым их сознание привыкло. Обыденное сознание от такого вопроса просто отмахивается, а ученое — производит на этот счет столько представлений, что само же в них и разобраться не может.

Ну и как же в таком случае тут быть с вопросом о месте бытия смысла? Ведь где только его нельзя увидеть! И в голове, и в вещах, и в словах, и в делах, и в жизни, и даже в самом смысле, — когда сам смысл как будто бы обесмысливается. Ибо не бессмысленно ли само бытие со смыслом?

Логика познания требует выяснения предпосылок вопроса, на который наталкивается мыслящее сознание, прежде чем на него отвечать. Чего бы этот вопрос ни касался. А более умный ход, развитый и обоснованный в диалектической методологии, заключается вообще в таком движении мысли, которое воспроизводит в форме объективного противоречия самое появление предпосылок нового явления, так что их не только искать не надо, но и можно (должно) увидеть в их собственном становлении. Более того, увидеть, как они снимаются и превращаются в собственные условия являющейся вещи. Но поди найди такое движение в науке! Разве только «Логика» Гегеля да «Капитал» Маркса.

Потому вопросы могут падать как с неба — даже если обосновывается их «земная» актуальность. Вот ведь задалась тема «нравственный смысл слова» — сколько эмпирических оснований можно привести в обоснование ее актуальности! Вплоть до ссылок на государственные акции запрета тех или иных слов по морально-нравственным основаниям. Слава богу, у государственных чиновников не хватает ума запретить смех (хотя школа это, неумело, но делает), который, пожалуй, тоньше и точнее может сделать то нравственное дело, где слову еще надо определиться со своими возможностями. Ну, а разве, с другой стороны, слово не передает смех, не может его нести в себе? Написаны целые трактаты о смеховой культуре, почему не писать о нравственной культуре слова? Парламенты многих стран давно озаботились языком, и далеко не только по нравственным основаниям.

А смех — он ведь и без слов существует. Конечно, и его можно «вымарать», чтобы все с серьезными рожами и навтыжку ходили, втягивая внутрь себя смех. Но бравый солдат Швейк будет смеяться действием. А слово... «Американцы подарили человечеству новый способ выражения своих чувств и мыслей — с помощью жующих резинку челюстей. Наверное, есть такие, которые вообще никогда не говорят, а общаются исключительно чмокая, чавкая, убыстряя или замедляя шевеление челюстей, а в особых случаях выщелкивая изо рта резиновый пузырь» [1, с. 231]. Не зря, видимо, в советские времена гонялись за чавкающими резинку. Они ведь что-то этим говорили, может, даже что-то безнравственное...

Вот и искусство, говорят, бывает нравственное и безнравственное. И как будто всё ясно: мы спокойно приписываем предикат нравственности целому явлению в истории человеческой культуры.

И вот наша проблема — связь слова и нравственного смысла, связь, превращающая слово в несущее нравственный смысл. Ясно, что тут, чтобы разобраться, надо понимать и самое нравственность, и ее объективный смысл. Без такого понимания

связать всё это в некоторое единство вряд ли удастся. С другой стороны, если мы с вами эти понятия имеем, то, вероятно, и наша проблема покажется псевдопроблемой, ибо ее предпосылки просто исчезнут. И нравственность в слове, столь эмпирически явная, будет понятна и для сознания, — даже научного. И потому в практике бытия не надо будет ругать и запрещать слова.

Итак, слово обладает смыслом и в своей некоторой определенности этот смысл оказывается исполненным нравственности. И мы, конечно, как бы знаем, что такое нравственность. И как смысловое определение, и как форма отношения, и как предикат личностного бытия. Знаем, следовательно, и как эти указанные определения синтезируются в слове, как их слово удерживает и несет. Как всеобщность «смыслового нравственного поля» словом концентрируется тут и теперь. Знаем силу, определяющую степень и меру этой концентрации. Знаем, что таким словом, сконцентрировавшим в себе «нравственную» энергию, можно убить.

Вот эпизод из «Истории одного детства» Е. Н. Водовозовой. Мать говорит: «Пусть умирает. И оставшихся нечем кормить». Больной ребенок это слышит. Читаем: «“Моя мать, моя родная мать желает моей смерти! Моя мать, моя родная мать не любит меня!” — твердила я про себя. <...> Эти неосторожные слова, произнесенные матушкой в минуту отчаяния, не раз потом вызывали у меня к ней злобу и вражду, доставив мне в детстве много тяжелых часов» [2, с. 23].

И видим: слова лишь выражают некие отношения между людьми, предельность которых выстраивает определенное, может быть, далекое от действительности, смысловое отношение. Которое удерживается как осознаваемая позиция в течение многих лет. И которое, конечно, содержит в себе нравственную определенность. Нравственность, которая тут в первую очередь и проявляется. Словами. Но она — не в словах.

Ибо она находится за рамками языка. И потому, конечно же, выражение «нравственный смысл слова» содержит в себе

не проблему связи (отношения) морального содержания и слова, а проблему нравственности самого человеческого бытия, существующую до языка и вне языка. В языке нравственности столько же, сколько красоты в правом полушарии головного мозга. Слово отражает и фиксирует не свою собственную определенность, не определенность своей материи, а определения бытия общественно действующего человека. Причем вполне определенные (если нравственные) его отношения внутри этой деятельности. Тот факт, что всякое слово имеет некий устойчивый смысл, просто свидетельствует о моменте устойчивости внутри многообразного движущегося смыслового пространства бытия человека.

Но не всё имеет смысл. Есть вещи совершенно бессмысленные. И есть бессмысленные слова. И есть обесмысливание слова. И есть слова, смысл которых — в их бессмысленности. Такой кентавр, правда, требует объяснения, ибо в нем соединены прямые противоположности, и их единство явно имеет некий особый смысл, снимающий исходные определения, — явно диалектическая ситуация. И есть слова как будто вообще безнравственные. И есть другие, как будто исполненные великого нравственно-человеческого смысла, но тоже способные вмиг этот смысл потерять. Точно так же, как и человеческая голова: то имеет сознание, то теряет его — даже оставаясь на плечах человека. А сознающая голова, *голова, имеющая сознание*, то впускает в свое сознание некий смысл, то исключает его оттуда. Не только, оказывается, сознание «где-то» находится (находит себя), но и «что-то» находится в нем, в этом сознании.

Слова теряют свой исходный смысл и приобретают его сообразно ситуации и ее содержанию. Потому ими можно и приласкать, и убить. Выразить нравственное чувство и животное начало.

И потому кажется, что в слове самом по себе ничего нравственного нет. Как в голове нет сознания. И то и другое — абсолютная пустота. То и другое наполняются смыслом в особом пространстве человеческого

бытия, и голова становится неотделимой от сознания, а слово от смысла. Или, наоборот, сознание от головы и смысл от слова. Срастаются напрочь, — так что кажутся некоей целостностью, бытующей изначально и будто бы имеющей онтологический характер. Но их «онтология» — всего лишь онтология культурно-исторического общественного бытия, мира человека. Здесь они, в своих элементах и связях, возникают, структурируются и перестраиваются, своими гранями каждый раз отражая (светясь, рефлектируя) ту или иную сторону действительности, ту или иную ее определенность, мелькающую в «атмосферных» катаклизмах общественной действительности.

Но является ли слово без смысла словом? Или это звук пустой, простое графическое начертание? И вопрос, который ближе к нам: нравственный смысл — где он есть до этого звука, до этого начертания? Ведь определенность нравственности не зависит от материи языка, наоборот, сама эта языковая материя модифицируется нравственным содержанием и потому становится нравственно значимой, способной передавать чувства. Которые вполне могут жить помимо слов, помимо материи языка.

Но ведь синтез материи языка и смысла может быть столь прочным, что звук перестает быть слышимым, а графика — видимой. Мы как бы проходим сквозь них. Обращаясь словом, мы обращаемся не словом, а мыслью. Мы озвучиваем мысль. Речь осмыслена, она — длящееся звучание, и это звучание передает смысл. Звук со смыслом есть слово.

Слово как бы сгущает смысловое пространство, выявляя в нем ту или иную определенность, соответствующую выражаемой действительности. Слово и помогает мне удержать этот несомый им смысл. Сгущая, оно итожит. Удерживает конкретный состав определений предмета. Но и развернуть эти определения я могу только через слово — посредством его абстрагирующего действия. Как, однако, выразить свое интегральное *отношение* к другому человеку, т. е. то самое нравственное содержание? Слово — как

в суждениях торговли в памфлете Гегеля «Кто мыслит абстрактно» — не выражает полноты ситуации. Потому, — если человек проявляет себя в ситуации абстрактно, и эти проявления могут носить даже противоположный образ, то удерживает ли он в себе, в своей субъективности, в душе, некое интегральное, синтетическое отношение к действительности? И как, через что оно выражается? Если слов тут оказывается недостаточно, то, может быть, через некую сопричастность к невидимому единому человеческому основанию? Может, это взгляд в глаза человека, которого вам требуется убить, такая ситуация случается в окопах войны.

Война, кстати, обнаруживает нам нравственные пределы человека. Даже там, где через нравственность как будто просто переступают. Такие противоречия, чреватые сумасшествием, в полной мере и предельно отражают противоречия самого общественного бытия, состав тех отношений, которые имеют место быть, — от интимно-непосредственных до предельно опосредованных. И чтобы это содержание увидеть (понять) и представить в слове и через это слово передать другому, требуется нечто гораздо большее, чем то, что культура выражает понятием нравственности. Всех категорий нравственного сознания здесь будет недостаточно. В войне как форме абсолютно безнравственного отношения человека к человеку проявляется то, что существует в реальном человеческом общежитии, помимо ее окопов. Здесь совесть, сущая как предел бессознательного знания, которая не думает, которая только «дум», выдерживает себя через свою прямую противоположность. Война — предел, который таится в человеческих отношениях и вне войны. Чтобы понять всё это, необходимо усилие ума, вскрывающее и удерживающее в слове, через слово, через действие и бытие *истину* этого общественно-исторического содержания.

Истину, которая потом уходит в основание. В основание и самой нравственности, и точно определенного слова, посредством которого начинает говорить мудрость.

Слова, которое достигает художественного образа и через него передает тончайшие оттенки человеческих чувств. То есть достигает именно того, в чем в первую очередь проявляется непосредственность отношения человека к человеку, т. е. нравственность. Нравственное определение — как непосредственно-личностная определенность любого моего сколь угодно расчлененного отношения к другой личности.

И к любой той вещи, к составу всех тех обстоятельств, посредством которых другая личность осуществляет себя. Причем, напомним, отношение непосредственное, которое *знает и эти обстоятельства, и самого себя — не зная ни обстоятельств, ни себя*. Иначе говоря, знание, которое не знает себя как знание. Не опосредованное как будто ничем, в том числе и словом. Потому ребенок и заявляет, что у него совесть не думает, она сама «дум». То есть некое «ставшее знание», знание, как поступать, не требующее размышлений. Или ум как потенция этого размышления. Совесть лишь разворачивается в порядок действий, осуществляющих общий смысл личностного отношения к действительности. Но везде, в каждом моменте, она сохраняет себя. Там, где действие разрушает ее самоидентичность, возникают «муки совести». А там, где муки исчезают и поступки начинают порождаться модификациями совести, совесть теряет свою «чистоту», а «нечистая» совесть и вовсе не есть совесть.

Совесть, в красках нарисованная девочкой четырех с половиной лет, на обороте листа была схематично выражена фломастером. Что означало, в пояснении ребенка, ее чистоту: «Потому что она чистая правда». Как соединились в представлении девочки совесть как «дум» и совесть как «чистая правда», пожалуй, можно не гадать: основание человеческого поведения лежит в той самоидентичности *Я*, которое, как угодно модифицируясь, остается всегда равным себе и абсолютно тождественным уму, добру, истине и красоте. А совесть — только проявление отношения к самому себе и той самой целостности культурно-исторического

бытия человека, которая отразилась в субъективности индивида и оказалась точкой отсчета всех своих поступков. Далеко не только «поступка слова».

Но ведь всё, что выступает как непосредственное, опосредовано — это кажется настолько понятным, что даже Гегеля читать тут нет необходимости. Опосредовано даже то, что мы мыслим как безотносительное, как абсолютное и потому самотождественное, довлеющее в себе. Всё опосредовано, но есть формы опосредованности, которые проявляют себя именно и только как непосредственные. Выйти за пределы категории основания есть единственный способ — найти это основание в самом себе. В таком случае относительность выступит только как отношение к самому себе, как безотносительное к любому определению вне себя.

Только вот, конечно, возникает вопрос, *где искать себя*. Вопрос, пожалуй, более сложный, чем поиски места смысла. Читатель, надеюсь, понимает, что речь идет не о поиске своего места в жизни, тут науки никакой нет, и не о поисках себя способом примеривания к различным образцам, типажам стандартно-личностных образований, «моделям» и «звездам». А о том, каким образом понять человеческое *Я*, в чем увидеть его природу.

Нравственность как нечто абсолютное в составе личностного бытия проявляет себя только тогда, когда она отождествлена с *Я*, а *Я* — с формами того бытия, которые оно полагает себе в качестве своих собственных условий. Ибо она есть предел личностного определения. Потому что в ней человек относится сам к себе, и это отношение лишь модифицируется различными историческими обстоятельствами бытия. Самоубийство — личностный поступок, всегда имеет нравственную основу. Ибо в нем проявляется отношение человека к человеку в наиболее предельной форме — как отношение к самому себе.

Нравственность, выражающая отношение личностного начала к целостности человеческого бытия, следовательно, к другой личности в полноте ее определений,

и фиксирует непосредственное отношение человека к человеку. Поэтому она не ищет слов и не ищет смыслов — для того чтобы проявить свою активную позицию. Она есть именно эта позиция. Которая *через слово выражается только там, где уже имеет место рефлексия*. Там, где этой рефлексии нет, нравственность проявляется вообще помимо слова, а потому и помимо рассудочной мысли. В искусстве герой своим бытием и действием выражает свое отношение к содержанию мира — во всех его проявлениях. И в интегральном виде — к другому человеку. В искусстве это давно найдено, а в экзистенциализме этот экстремальный момент проявлен как точка, определяющая действительное лицо человека в отличие от его им самим для себя нарисованных личин. Совесть не говорит, она проявляет себя своим содержанием — без всякого размышления.

Интересно, что, по Гегелю, абсолютная нравственность «не совокупность, а безразличие всех добродетелей. Она проявляется не как любовь к отечеству, народу, законам, а как абсолютная жизнь в отечестве и для народа. Она есть абсолютная истина, ибо истина состоит лишь в фиксировании определенности, в “вечном” же народа снимается всякая единичность. Нравственность есть абсолютное образование, ибо в вечном наличествует реальное эмпирическое уничтожение всех определенностей и изменение всех. Она есть абсолютное бескорыстие, ибо в вечном нет ничего собственного. Она, и каждое из ее движений, есть высшая свобода и красота, ибо реальное бытие и оформление вечного есть красота. Ей чуждо страдание, она блаженна; ибо в ней снято всякое различие и всякая боль. Она есть божественное, абсолютное, реальное, существующее, сущее, ничем не прикрытое и не такое, что его можно было бы выделить лишь в идеальность божественного и извлечь лишь из явления и эмпирического созерцания, напротив, она непосредственно является абсолютным созерцанием» [3, с. 330—331]. Убивать и видеть глаза убиваемого поэтому не может без содрогания никто, еще сохраняющий в себе нечто человеческое.

«Уже та святость, — говорит другой мыслитель, — которая характеризует всякий чисто моральный поступок, зиждется на том, что последний в конечном основании вытекает из непосредственного уразумения тождества всех живых особей по их внутренней сущности» [4, с. 156].

Язык не первичен. Это лишь кажимость, что в начале было слово. И это так не только исторически, так оно и в онтогенезе, в индивидуальном развитии человека. Мощная сила слова свою мощь получает только из общественного содержания, которое поддается слову в той мере, в какой это содержание может бытовать в отвлеченной от реального бытия форме. В какой мысль, смысл, может обособить себя и в чем-то удержать свою обособленную форму. Только в этих условиях слово и может возникнуть. И удержать собой, и достаточно произвольно-свободно модифицировать любой смысл и через эту модификацию выстраивать субъективность человека и тем самым задавать ему мотив и форму деятельности. Иллюзия первичности слова возникает здесь.

Атмосфера кажется метафорой к выражению человеческого общежития. Но чем же дышит душа, если не этой атмосферой, в которой ведь распространены не только миазмы, но и красота, и добро?! Которые, как воздух, руками не пощупаешь, умом не почувствуешь. Но то, чем видишь, знаешь, чувствуешь, чем живешь и дышишь, и есть душа. Неспецифический орган чувств и смыслов. С неопределенным месторасположением. Как сознание.

Из анализа словесного состава языка, его морфологии, грамматики, синтаксиса и т. д. нельзя вычитать смыслы. Но звук, краска, пространственная фигура и т. д., всё чувственно воспринимаемое, содержит в себе те собственные свойства, которые точнее и плотнее способны выразить и удерживать соответствующие смыслы. И эти смыслы, как функции чего-то внешнего, столь органично смыкаются с собственными свойствами вещи, что сами кажутся их собственными определениями. Они становятся неразличимы не только для чувственного

созерцания, но и для ума. Потому различить их, отделить одно от другого, и не получается. Хирургический анализ мозговой ткани не обнаруживает там мысли — чем ставит в тупик исповедующего наивность суждения «сознание находится в голове». Как никакой физико-химический анализ золота не обнаружит в нем свойства денежности. Однако именно золото есть тот материал, который наиболее прочно срастается с формой меновой стоимости. Мозг тот орган, который пластично удерживает любые смыслы. Сращение смыслового движения и движения его органики может обнаружить себя в двух противоположных формах: определяюще-ведущей может стать смысловая сторона, а может и органическая. Превратите золото в железо, и свойство денежности «поплывет». Скрипка Страдивари есть «золото» по сравнению с «железом» поточного производства этого музыкального инструмента; рука скрипача, внимающая смыслу музыкального произведения, «срослась» со смыслом музыкальных звуков; чистый звук не мешает быть чистому смыслу и чувству. Мышление вне чистых форм — засасывающее болото эмпиризма. Художник умеет подобрать краски для выражения своего чувства и смысла.

— *Давай, ты нарисуй мне, а я буду раскрашивать!* — просит меня та самая маленькая девочка.

— *Нет, рисуй сама, — возражаю я. — Что хочешь и как хочешь. Ты сама должна думать! А раскрашивать — тут и думать не надо, это всякий дурак сделает.*

— *Нет, раскрашивать — это тоже думать надо!* — не соглашается она.

— *Да чего там думать! Раскрашивай, да и всё!*

— *Надо думать, какие краски выбрать, как их смешать и где как раскрасить!*

Кто бы мог подумать, что здесь думать надо?!

Можно было бы писать о различных смысловых нагрузках слова. Не случайно, еще в античные времена, возникла риторика. Но художественное слово, — пожалуй, самое примелькавшееся словосочетание.

Наверное, можно говорить и писать об эстетике слова, о его художественном смысле. Есть высокий слог. Есть поэзия слова. Есть такие сгущения языковой материи, которые могут поднимать нас в небеса человеческого духа и могут опускать в сточные ямы человеческой цивилизации. И сколь бы критики, аналитики, искусствоведы и лингвисты ни копались в этой материи, они выше и чище ее не сделают — дышать мы будем тем, что эта культура в атмосферу выбросит.

Литература

1. **Поляков Ю. М.** Небо падших // Левая грудь Афродиты: повести, пьесы, рассказ / Ю. М. Поляков. М.: Мол. гвардия, 2001. С. 123—248.
2. **Водовозова Е. Н.** История одного детства; Детство Никиты / А. Н. Толстой. М.: Эксмо, 2010. 576 с. (Новинка).
3. **Гегель Г.** Политические произведения. М.: Наука, 1978. 438 с.
4. **Шопенгауэр А.** Избранные произведения / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. И. С. Нарский. М.: Просвещение, 1993. 477 с.

Поступило 20.02.2019

Лобастов Геннадий Васильевич — доктор философских наук, профессор; профессор кафедры философии Московского авиационного института (национальный исследовательский университет) — МАИ (Россия, 125993, Москва, Волоколамское ш., 4), lobastov.g.v@yandex.ru

References

1. Polyakov Yu. M. Nebo padshikh (Sky of the Fallen), *Levaya grud' Afrodity, povesti, p'esy, rasskaz*, by Yu. M. Polyakov, M., Mol. gvardiya, 2001. pp. 123—248.
2. Vodovozova E. N. Istoriya odnogo detstva (A History of One Childhood). Tolstoi A. N. Detstvo Nikity (Nikita's Childhood). M., Eksmo, 2010, 576 p., Novinka.
3. Gegel' G. (Hegel G.) Politicheskie proizvedeniya (Political Works), M., Nauka, 1978, 438 p.
4. Shopengauer A. (Schopenhauer A.) Izbrannye proizvedeniya (Selected Works), Sost., avt. vstup. st. i primch. I. S. Narskii, M., Prosveshchenie, 1993, 477 p.

Submitted 21.08.2018

Lobastov Gennadiy V., Doctor of Philosophical Sciences, Professor; professor of Philosophy Department, Moscow Aviation Institute (National Research University) — MAI (4, Volokolamskoe shosse, Moscow, 125993, Russia), lobastov.g.v@yandex.ru